

ЕВА ЗИМИНА

ХАНСКАЯ НЕВЕСТА
ДЛЯ СТЕПНОГО ДРАКОНА

The poster depicts a man and a woman in a fantastical steppes setting. The man, on the left, has long dark hair and blue tribal-style markings on his face and arm. He wears a dark blue robe with a fur collar and has a dragon's head on his right arm. The woman, on the right, has long dark hair in a braid and wears a white and blue dress with gold embroidery. She holds a stringed instrument resembling a sazes. In the background, there is a tall, jagged rock formation with glowing lines, a flagpole with colorful banners, and a small tent in the distance under a sunset sky.

Ева Зимина

Ханская невеста для степного дракона

<https://litres.ru/74211572>

SelfPub; 2026

Аннотация

Я — певица юрты ханши. Голос — моё ремесло, а тайный дар — слышать фальшь в любом чужом голосе. Пятнадцать лет степью правит суд Поющего камня: на правде он поёт стройно, на лжи — фальшивит. Вот только мой брат сказал правду — а камень сфальшивил, и брата бросили в судную яму.

Чтобы купить мир между степью и Ветровой ставкой, меня отдают в жёны лорду Тарлану Аргуну — ветряному дракону, которого боится вся межа. Брачный ряд на четырнадцати лентах, и седьмая — «никаких чувств». Но я привязала свою, пятнадцатую: в юрте — только правда.

У меня двадцать четыре дня до Ночи Большого Ветра, чтобы понять, почему великий камень лжёт, вытащить брата из ямы и не отдать сердце мужу по расчёту. А у степи хороший слух: фальшь слышно. Особенно — свою.

Содержание

Глава 1. Суд, который поёт	4
Глава 2. Договор о четырнадцати лентах	18
Глава 3. Ставка ветров	31
Глава 4. Поющие скалы	44
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Ева Зимина

Ханская невеста для степного дракона

Глава 1. Суд, который поёт

Камень запел суд, и я одна на всю степь услышала, что он врёт.

Осенние суды съезжаются к Поющим скалам, как птицы к воде: за седмицу до них степь пустеет, а судная долина обростает юртами, дымами и обидами. Обид в тот год скопилось больше, чем дымов. Третий год камень-ветер судил так, что после его песни роды снимались с кочевий среди ночи и уходили от межи подальше, а вслед им летело одно и то же слово — «уличён».

Я стояла по левую руку от ханши, как положено певице её юрты, и держала перед собой бубен с лентами, которым не собиралась пользоваться. Запев суда я уже спела. Голос у меня после запева всегда как выжатый войлок, и это к лучшему: когда очень хочется закричать на всю долину, кричать нечем.

Рядом со мной переминалась Гуль, швея ханской юрты и

единственный человек в степи, которому я позволяла дёргать себя за рукав. Гуль дёргала: ей было страшно интересно, засудят караванщика или нет, и она делала ставку на «нет», потому что Бекас однажды привёз ей из Семи Ключей напёрсток из настоящего стеклянного литья и вообще был хороший человек. Гуль до сих пор верила, что камень слушает, хороший ты человек или нет. Я ей завидовала.

Утром, перед судами, Кайсар остановился возле меня — он всегда находил на кого потратить каплю своего бархата. Похвалил запев: сказал, что голос у меня чистый, как рассветный ветер, и что чистым голосам место у камня. «Тебе бы петь суды, девочка, — сказал он, и добрые морщины у его глаз стали ещё добрее. — Приходи в белую юрту, я послушаю тебя ближе». Я поклонилась и спела ему в ответ благодарность — три положенные строки, гладкие, как кумысная пенка. Уши мои тем временем делали своё дело: искали в его голосе хоть одну щёлку. Не нашли. За пятнадцать лет он спел степи тысячу судов и ни разу не дал слабины, и это пугало меня больше, чем любая фальшь: так ровно не поют даже святые. Так ровно поют только те, кто очень давно репетирует.

Судили Бекаса. Караванщика я знала, как знает степь всякого, кто десять лет водит соль от Семи Ключей до рубежа и ни разу не потерял ни верблюда, ни чужого доверия. Он стоял перед камнем без пояса, как велит обычай, и держал ладони раскрытыми, и говорил просто, будто рассказывал у

костра, как прошёл летние броды.

— Я гнал обоз старой межой, — говорил он. — Потравы не было. Трава там и не росла с весны, там солончак. Пусть скажут глаза, которые видели траву на солончаке, — я на такие глаза посмотрю.

Голос у Бекаса был как хорошая дорожная струна: низкий, чуть потёртый, без единой трещины. Правда ложится в голос особым ладом — ниже слов, ровнее дыхания. Этому не научишь и этого не подделаешь; можно выучиться говорить гладко, можно врать не дрогнув, но лад не обманет того, кто его слышит.

Я — слышала. Я слышала лады с тех пор, как себя помню, и молчала о них столько же, потому что первое, чему выучила меня мать, была колыбельная, а второе — молчание.

Бекас говорил правду. Вся его правда стояла в голосе, как вода в добром колодце, — хоть черпай.

А истец врал. Толстый Ошур из рода Дарги, двоюродный брат сотника судной стражи, рассказывал про вытоптанное пастбище и павших от бескормицы кобыл таким голосом, что у меня сводило зубы: фальшь сидела у него между словами, как песок между зубьями гребня. Он даже не старался. Зачем стараться, если поёшь не ты, а камень.

Кайсар вышел к прорезям, когда обе стороны отговорили своё.

Голос Ветра носит белое с серым — цвета ковыля на ветру, чтоб издали было видно: вот идут уста камня. Он немо-

лод, но лёгок, и лицо у него из тех, что нравятся сразу и всем: открытое, сухое, с добрыми морщинами у глаз. Пятнадцать лет степь слушала суды его горлом и привыкла к нему, как привыкают к хорошей погоде.

Меня от его голоса знобило.

Не потому, что в нём была фальшь. В том и беда: фальши в нём не было. Голос у Кайсара был бархатный, тёплый, выстроенный до последнего волоска — ни трещины, ни зазора, ни щели, куда можно было бы вставить ухо и услышать, что там внутри. Все голоса в степи для меня были как юрты с откинутым пологом. Его — как юрта, обшитая железом.

— Степь слушает, — сказал Кайсар, и долина затихла до звона в ушах. — Ветер рассудит.

Смотритель Шокан, глухой старик в вытертом кожухе, снял войлочные заслоны с судных прорезей — с двух нижних, как положено на малом суде. Ветер зашёл в камень.

Про Поющие скалы поют, что их вырастили первые драконы из первого ветра, а первый человеческий голос дал им строй, и оттого камень — общий: он и есть договор ветра и травы, живой, в скале, на меже двух миров. Жилы в его прорезях — тонкие, звонкие, старше всех родов степи. Когда ветер идёт сквозь них на правде, камень поёт так, что хочется жить: стройно, широко, всеми голосами сразу, будто степь сама себе рассказывает себя. Я знаю. Я слышала его строй один раз — маленькой, из-за материнской спины, в год, когда мать ещё была Первым голосом, а я — просто девочкой

с бубном.

Пятнадцать лет камень поёт иначе.

Страшно не то, что он поёт иначе. Страшно, что степь привыкла. Выросло целое поколение, которое не слышало старого строя и думает, что суд и должен резать уши: на то, мол, и правда, чтоб было больно. Старики, помнившие иное, один за другим уходили к предкам, а кто оставался — молчал, потому что первым, кто сказал вслух «камень поёт не так», был Первый голос степи. Моя мать. Все видели, что с ней стало.

— Говори своё слово к ветру, — велел Кайсар Бекасу.

— Потравы не было, — сказал Бекас камню, просто и ровно, как говорят детям и богам. — Я шёл солончаком. Клянусь дорогой.

Правда в его голосе стояла такая чистая, что я невольно подалась вперёд: ну же. Ну.

Камень сфальшивил.

Он не промолчал — молчащий камень означал бы, что ветра мало, и суд перенесли бы. Он запел, и с первого же тона его песня поехала вкось, как телега со сломанной осью: жилы тянули врозь, верхняя резала, нижние гудели глухо и не в лад, и вся долина сморщилась разом, будто ей плеснули кислым в лицо. Фальшь камня — не человеческая фальшь, её слышат все. На то и суд.

— Ветер не принял слова, — пропел Кайсар в наставшей тишине, и голос его лёг на фальшь камня, как мягкая ладонь

на ушибленное место: успокаивая, объясняя, завершая. — Слово было кривое. Ветер прям.

Я стояла и держала бубен так, что ленты дрожали.

Это неправда, хотелось крикнуть мне. Слово было прямое. Я слышала его правду, она звенела, как полная чаша. Это ваш камень поёт кривым горлом, это в нём фальшь, а не в караванщике, — и я одна её слышу, потому что вы все слушаете песню, а я слышу строй.

Я не крикнула. Дочери Умай кричать такое — всё равно что самой лечь в судную яму и попросить закрыть крышку.

Мать мою степь помнила ровно одним словом: фальшивый голос. Первый голос, который сфальшивил на суде и был изгнан с межи со срезанными лентами. Мне было шесть, и я помню не суд — я помню, как со всех памятных шестов нашего рода снимали синие ленты с её именем, и как молчала степь, и как мать несла меня на спине в откочевье и пела мне колыбельную, чтобы я не слышала, что за нами кричат. У колыбельной был странный, глубокий строй — я в нём выросла, как в доме. Я и посеючас, когда страшно, пою её про себя.

Я пела её про себя и в тот час, у камня, пока Кайсар нарекал Бекасу виру: обоз с солью — в счёт потравы, треть — истцу, треть — судной страже, треть — на прокорм камня, то есть в белую юрту Голоса. Бекас стоял, как стоят люди, у которых отняли не соль, а имя, и смотрел не на Кайсара — на камень. Так смотрят на друга, который тебя предал: без злобы ещё, с одним вопросом.

— Не серчай на ветер, — мягко сказал ему Кайсар, проходя мимо. — Серчай на своё слово.

И вот тут я слышала.

Одну-единственную ноту, на самом дне его бархата, короткую, как укол шила сквозь войлок. Не фальшь даже — довольство. Так гудит про себя человек, у которого сошёлся счёт.

Голос не соврёт. Соврёт слово, соврёт лицо, соврёт камень, если найдётся рука, что сойдёт ему строй. А голос — нет. Надо только слушать ниже слов.

Вечером меня позвали в большую юрту.

Ханша Тумар стара, как осень, и, как осень, не бывает слабой — бывает только тихой перед бурей. Она сидела на белых кошмах, маленькая, прямая, в тёмном, без единого украшения, кроме тяжёлых серебряных колец на пальцах, которыми она держала пиалу, и смотрела, как я кланяюсь, так, как смотрела всегда: будто пересчитывала во мне что-то, ведомое ей одной.

— Сядь, певица.

Я села. Кумыс в пиале, которую мне подали, был холодный и отдавал полынью — осенний кумыс, последний.

— Завтра к скалам придёт ветер с рубежа, — сказала Тумар без предисловий. Она никогда не тратила слов, за это её и боялись. — Лорд Тарлан Аргун, хозяин Ветровой ставки, страж рубежа. Просил суда и разговора. Разговор ему будет. Суда, — она отпила, — не будет.

Я молчала. Певице положено молчать, пока её не спросят, и в этом вся сладость моего ремесла: молчащую слушальщицу никто не считает.

— Знаешь, что стоит между степью и домом ветра? — спросила она.

— Война, великая ханша, — сказала я. — Об этом поют у всех костров.

— У костров поют половину. — Тумар поставила пиа-лу. — Слушай вторую. Три года камень ловит дом Аргун на лжи. То их караванный уговор кривой, то их межевое слово кривое. Год назад приехал младший брат лорда, мальчишка, просить, чтобы степь дала камню отдых и позвала настройщиков с их стороны, как в старину. Его слово к ветру камень изломал так, что старики заткнули уши. Лазутчик, сказал суд. Мальчишка сидит в судной яме год. Дом Аргун год не гонит нам дождей. Пастбища жёлтые, колодцы к зиме будут пустые, а к весне... — она повела рукой, и серебро на пальцах глухо звякнуло. — К весне степь пойдёт за дождём сама. С копытами. Или дом ветра придёт за братом. Кто первый — уже не важно.

Она замолчала и долго смотрела на огонь очага.

— Мир смазывают кровью или свадьбой, — сказала она наконец. — Крови я видала. Завтра я предложу лорду Аргуну невесту из моей юрты. Ханскую невесту, названую дочь Тумар, — чтобы степь не сказала, что я отдала дому ветра служанку. И чтобы в Ночь Большого Ветра он поклялся у

камня хранить договор, а я вернула ему брата. Вот цена мира, и она дешевле войны.

Я слушала и не слышала себя — так бывает, когда судьба входит в юрту и садится у твоего очага, а ты всё ещё надеешься, что она перепутала полог.

— Названная дочь, — повторила я. — Великая ханша, у вас три названные дочери из хороших родов...

— И ни у одной нет твоих ушей.

Тишина легла между нами, как снятый заслон.

— Я стара, певица, но не глуха, — сказала Тумар тихо. — Я сижу у камня пятнадцать лет и вижу: суды кормят одних и тех же, а ветер отчего-то всегда дует в спину Голосу. Доказательств у меня нет. Слово против камня — смешное слово, за такое и ханшу снимут с белых кошм. Но я смотрю на тебя, дочь юрты, десятый год. Я видела тебя сегодня. Когда камень пел караванщику виру, у всей долины были лица как лица. У тебя было лицо человека, которому наступили на ухо.

Отпираться перед Тумар — всё равно что прятать кулак в рукавице из воды.

— У меня хороший слух, великая ханша, — сказала я осторожно. — Певице положено.

— Вот и послужи им степи. — Она подалась вперёд, и глаза у неё были молодые и жёсткие, как у беркута. — Поедешь в дом ветра ханской невестой. Будешь жить среди драконов, слушать их голоса, их слова, их ветер. Если дом Аргун лжёт степи — я узнаю это от тебя раньше, чем их ложь съест между.

А если не лжёт... — она откинулась назад, и на один вздох мне почудилось, что старая ханша устала быть каменной. — Если не лжёт, то лжёт кто-то ближе. И тогда, певица, мне понадобятся твои уши так, как не надобились ничьи.

— Я сирота при вашей юрте, — сказала я, глядя в кошму. — Мою мать степь звала фальшивым голосом. Лорд узнает — и вместо мира вы получите обиду.

— Твою мать звали Умай, и её дело срезано с шестов и забыто, а ты — Айнара, певица ханши, и всё. — Голос Тумар лёг тяжело, как печать. — Кому надо помнить — помнит молча. Кому не надо — не вспомнит. Ты едешь. Это не просьба, дитя, это уплата: тобой я плачу за тысячу некопанных могил. Дороже тебя у меня сегодня ничего нет, и дешево войны — тоже.

Она отпустила меня взмахом руки, и уже у полога догнала последним словом:

— Дарга проводит тебя к ямам. Глянешь на деверя. Невесте положено знать, за чей выкуп её отдают.

Ночь над судной долиной стояла ясная и холодная, со звёздами, крупными, как соль на чёрном войлоке. Дарга шёл впереди с факелом — сотник судной стражи, широкий, с плёткой за поясом, которой он никогда не бил при свидетелях, — и от его спины несло тем же довольством, что днём от голоса Кайсара. У этих двоих счёт сходиллся уже пятнадцать лет.

— Повезло тебе, певица, — говорил он на ходу, не обо-

рачиваясь, и голос у него был сытый, с ленцой, как у пса, которого кормят с судного стола. — В драконий дом идёшь. Юрты у них, говорят, не юрты — крепость на колёсах, войлок с серебряной нитью. Поживёшь как ханша, пока война не начнётся. А война начнётся, — он хохотнул, — тут уж не обессудь: невесту врага первой с шеста снимают.

Я не отвечала. Отвечать Дарге — кормить его, а он и так был перекормлен: за три года судная стража отстроила себе новые юрты, завела табун, какого нет у иного рода, и ходила по долине хозяйской походкой. Всё это выросло из третей, что камень отрезал уличённым. Я шла и считала в уме, сколько Бекасов, сколько вдов, сколько споротых лент пошло на серебряную сбрую его коня, — считать было легче, чем думать о том, куда меня ведут.

Судные ямы вырублены под скалами — старые поющие колодцы, в которых прежде выдерживали кумыс для больших праздников, а теперь выдерживают людей. Над одной из них решётка была новее прочих, и возле неё Дарга остановился.

— Вот твой деверь, невеста, — сказал он и хохотнул. — Полюбуйся до свадьбы.

Я взяла у него факел и присела у решётки.

Яма была глубокая, локтей десять, и снизу на меня поднялись глаза — светлые, серые, как зимний ковыль, на молодом лице, заросшем и осунувшемся до костей. Санжар Ар-гун, младший брат хозяина ветров, сидел на охалке старой

соломы, обхватив колени, и не шурился на огонь, хотя огня не видел, должно быть, с прошлой луны. Год в каменном колоде. Ему было девятнадцать.

— Пришли послушать, как воет дракон? — спросил он снизу. Голос у него сел от молчания, но не сломался. — Не вою. Передай, кто послал.

— Меня зовут Айнара, — сказала я, сама не зная зачем. — Завтра приезжает твой брат. За тобой.

Он поднялся одним движением — голодным, лёгким, драконьим, — и встал под решёткой, задрал лицо, и в свете факела я увидела на его правой руке, от кисти до локтя, серую сухую корку, похожую на выветренный песчаник, и там, где она трескалась, не было крови, только пыль.

— Скажи ему: пусть не верит камню, — проговорил Сан-жар быстро, тихо, в самое моё ухо, как будто нас разделял не колодец, а полог. — Я стоял перед ветром и говорил правду. Про дожди, про межу, про настройщиков — правду, одну правду, я готов повторить её хоть завтра. Камень изломал её нарочно. Я не знаю как. Я знаю — нарочно. Скажи ему.

Дарга уже тянул меня за плечо, ругаясь, что невестам не положено разговоров с уличёнными, и факел плясал, и решётка уходила из-под рук, а я всё слушала — не слова.

Лад.

Голос из ямы звенел чистой, цельной, безнадёжной правдой — первой правдой за весь этот длинный судный день, не считая правды Бекаса, которую камень при мне переломил

о колено. Ни трещины. Ни зазора. Так не лгут. Так даже не молятся — так просто говорят то, что есть.

У самых юрт меня перехватила Гуль — конечно, она уже всё знала: в ставке ханши новости бегают быстрее сусликов. Она вцепилась в меня, мокрая от слёз, и зашептала впере-мешку всё, что успела собрать за вечер: что драконы дышат бурей и от их дыхания у людей седеют виски; что лорд Тарлан за три года ни разу не улыбнулся, и что жену он берёт не сердцем, а как берут заложника — за горло; что прежняя степная девушка, отданная в дом ветра сто лет назад, за год истаяла от тоски. Голос у Гуль дрожал честным, тёплым, на-смерть перепуганным ладом, и я гладила её по голове и слушала не сказки — любовь. Любви в её голосе было больше, чем страха, и это было единственное, что я уносила из ханской ставки своего.

— Не реви, — сказала я ей. — Меня отдают не дракону. Меня отдают миру. Это почётно: буду жить меж двух войн, как игла между двумя полотнищами.

— Иглу-то и ломают первой, — всхлипнула Гуль.

Я шла назад мимо тёмных юрт, и бубен молчал у меня под мышкой, и в голове, сама собой, тише дыхания, пела материнская колыбельная — глубокий, странный, ни на что не похожий строй.

Завтра мне назовут жениха, за которого меня отдают в уплату мира.

А камень, что будет петь нашу клятву, врёт.

И на всю Великую степь об этом знаем трое: яма, я — и тот, кто его научил.

Глава 2. Договор о четырнадцати лентах

Ветер пришёл раньше гостя, и по тому, как он пришёл, вся ставка поняла: идёт дракон.

Обычный осенний ветер в наших краях — бродяга: дёргает полы юрт, гоняет пыль, свистит в решётках дымоходов и уходит, не попрощавшись. Этот шёл, как идёт хозяин по своему двору, — ровно, широко, одним дыханием от края до края долины, и флажки на копьях судной стражи вытянулись все в одну сторону и замерли, будто их накрахмалили. Кони подняли головы. Старики вышли из юрт и встали лицом к рубежу. Гуль вцепилась мне в локоть так, что на завтра остались пять синих пятен.

— Он летит? — шептала она. — Он правда летит?

Он не летел. Он ехал — с холма, с полуденной стороны, верхом, с малой свитой в семь человек, и над ними на длинном древке шло серое знамя дома Аргун с вышитым ковыльным колосом. Но ветер шёл перед ним, как глашатай, и катился по долине, и я слушала этот ветер во все уши, потому что ветер — тоже голос, если умеешь слушать. В нём не было угрозы. В нём была усталость, туго свёрнутая, как аркан у седла, — усталость силы, которую очень давно держат в

кулаке.

Лорд Тарлан Аргун спешился у большой юрты, не дожидаясь, пока ему подведут подставку, бросил повод своему человеку и пошёл к ханше через живой коридор из лучших людей степи, глядя поверх голов. Он был высок, темноволос, в дорожном сером без единого украшения, если не считать пояса с серебряной пряжкой-вихрем, и правая рука его была в перчатке, хотя левая — нет. Лицо у него было из тех, о которых Гуль вечером сказала: «красивый, как обрыв» — смотреть красиво, подходить страшно. Он ни разу не взглянул на меня, проходя, и я тогда ещё подумала: вот и хорошо. Слушать легче, когда на тебя не смотрят.

В большой юрте, по правую руку ханши, уже сидел Кайсар.

Голос Ветра приехал на рассвете, раньше всех, — как же, толмачу камня положено быть там, где решается судьба межи. Он сидел на белой кошке в своём ковыльном одеянии, перебирал чётки из речного жемчуга и улыбался всем поровну, и перстень на его среднем пальце — тяжёлый, тусклого серебра, с продольной прорезью, похожей на сомкнутые губы, — ловил свет очага. Я знала этот перстень, как знала его вся степь: камертон Голоса, которым он проверяет, чисто ли поют жилы. Святая вещь. Мне от неё сводило уши, и я всегда думала, что это от почтения.

Я спела запев гостя — короткий, положенный, про ветер, что приносит друга, — и села за спиной ханши, у самой стен-

ки, где сидят те, кого не считают.

— Ты просил разговора, лорд Аргун, — сказала Тумар.
— Говори.

— Я просил суда. — Голос у него оказался ниже, чем я ждала, и ровнее. Не бархат Кайсара, нет: бархат — ткань, а это был камень, обкатанный водой. — Суда над делом моего брата. Год назад ваш камень назвал его лазутчиком. Мой дом не признал этого суда и не признает. Я приехал сказать это в лицо степи и забрать брата. Назовите выкуп.

— Выкупа нет, — сказала Тумар. — Уличённый камнем не продаётся. Таков закон межи, и не мне его ломать.

— Тогда степь получит войну, которую не хочет, — сказал Тарлан так же ровно. — Я тоже её не хочу. Но я третий год смотрю, как ваш суд объедает мой дом, как караваны под моим словом объявляют кривыми, как моего брата гноят в яме за то, что он сказал правду. Ветер терпелив, великая ханша. Я — уже нет.

Я слушала его голос, как слушают воду в темноте: где дно?

И вот что я вам скажу, — а сказать мне тогда было некому, кроме собственного бубна: дна там не было. Была правда. Тяжёлая, ровная, вымороженная правда человека, который очень давно не ждёт, что ему поверят, и говорит правду уже не для людей, а потому что иначе не умеет. На слове «брата» его голос дрогнул — не вверх, как у лжецов, а вниз, туда, где у людей живёт горе. Если этот человек лгал степи три года подряд, то я не слышала в жизни ни одного честного голоса.

— Война — дурная плата за гордость, — сказала Тумар. — Есть плата дешевле. Слушай моё слово, лорд Аргун, я скажу его один раз. В Ночь Большого Ветра, через двадцать четыре дня, вся степь съедется к скалам. Ты выйдешь к камню и поклянёшься хранить договор ветра и травы, как клялись твои деды. Той же ночью я верну тебе брата — живым, из ямы, при всей степи. А чтобы двадцать четыре дня никто не точил копья — ни твои сотни, ни мои, — ты возьмёшь из моей юрты жену. Ханскую невесту, названую дочь Тумар. Степь не воюет с домом, где спит её дочь.

Стало так тихо, что я услышала, как потрескивает фитиль в жирнике.

— Ваш камень изломает любую мою клятву, — сказал Тарлан наконец, и в первый раз за весь разговор в его ровном голосе прорезался край — тонкий, злой, как кромка льда. — Вы предлагаете мне привести дом к скалам и при всей степи услышать, что хозяин ветров лжёт. А потом? Яма найдётся и для меня?

— Ветер прям, лорд, — мягко сказал Кайсар.

Он сказал это так тепло, так примирительно, что половина юрты закивала. А у меня по хребту прошёл холод, потому что под тёплыми словами, на самом дне бархата, я услышала ту же короткую довольную ноту, что вчера у судных прорезей. Счёт сходился. Чей-то счёт сходился опять, и я начинала догадываться чей.

— Прям, — повторил Тарлан и посмотрел на Голоса Вет-

ра долгим взглядом, каким смотрят на глубокую воду. — От того и гнётся всё вокруг него.

— Довольно, — сказала Тумар. — Твоё слово, лорд Аргун. Мир и брат — за клятву и жену. Или война. Я стара, мне всё равно, что выбирать, — мне не всё равно, что выберешь ты.

Он молчал долго. Я слушала его молчание — молчание тоже звучит, если стоять близко: в нём ворочался ветер, запертый, злой, и что-то ещё, тише, — то, что не называют при чужих. Брат. Год в яме. Серая корка от кисти до локтя.

— Согласен, — сказал лорд Тарлан Аргун.

И только тогда посмотрел на меня — сразу, безошибочно, через всю юрту, как будто всегда знал, где я сижу.

Перед тем как писать ряд, он попросил ханшу об одном: увидеть брата. Ему отказали — уличённый до выкупа не показывается родне, таков закон, и Дарга проговорил этот закон с таким удовольствием, что у меня заныли зубы. Тарлан принял отказ молча, только ветер снаружи ударил в юрту один раз, коротко, как кулак в стену, и утих. А когда совет расходился и меня, уже названную невестой, повели через двор к писцу, лорд Аргун догнал меня у коновязи — сам, без свиты, и спросил тихо, не тратя слов на приличия:

— Ты ходила к ямам вчера. Мне сказали. Ты видела его. Как он?

Я могла ответить, как отвечают благородные: жив, здоров, ждёт. Но пятнадцатую ленту я тогда уже носила в себе, хоть

она ещё не была написана.

— Худой, как зимний волк, и злой, как весенний, — сказала я. — Год без неба. Правая рука серая до локтя, и он прячет её, как вы свою. Он просил передать вам три слова: не верь камню. Он сказал, что говорил перед ветром одну правду, — и, лорд, я вам скажу то, чего не скажет никто в этой ставке: я ему верю.

Он стоял очень неподвижно — так, что даже конь у коновязи перестал переступать и повернул к нему голову. Потом спросил ещё тише:

— Почему?

— Потому что у лжи один звук, а у правды другой, — сказала я. — У вашего брата — другой.

Он смотрел на меня долго, и я впервые услышала, как звучит его молчание вблизи: как степь за миг до дождя, которого ждали три года.

— Если ты играешь со мной, певица, — сказал он наконец, — то ты играешь лучше всех, кого присылала ко мне степь. А присылала она многих.

— Я не играю. Я пою, — сказала я. — Это разное. Играют — для других. Поют — потому что молчать нельзя.

Брачный ряд писали в тот же день, до заката, потому что осенние дни коротки, а недоверие длинно.

У степи для этого есть обычай, старый и красивый: условия ряда пишут не на бумаге — бумага для степи мертва, — а на лентах, и каждую ленту оглашают вслух, и вяжут на сва-

дебный шест, и пока шест стоит у юрты, ряд живёт. Писец ханши, скрипя от усердия, выводил на четырнадцать лентах четырнадцать условий: о мире между домом Аргун и родами степи до Ночи Большого Ветра и после неё; о дождях, которые дом ветра начнёт гнать к пастбищам со дня свадьбы; о караванных ветрах; о меже; о том, что невеста вольна в своей вере, своих песнях и своём бубне; о том, что обиду невесте степь считает обидой себе; и прочее, что положено, — я слушала вполуха, потому что считала не слова, а ноты.

Седьмую ленту продиктовал сам Тарлан.

— Пиши: брак сей — договор мира, не сердца. Ни одна из сторон не должна другой ни любви, ни притворства в ней. — Он сказал это сухо, глядя поверх писца, и рука в перчатке лежала на колене неподвижно, как вещь. — Никаких чувств. Так и пиши.

Кайсар слушал седьмую ленту, склонив голову, и кивал ей, как доброму ученику. А на моей пятнадцатой — я нарочно смотрела на него, оглашая, — его бархат впервые за два дня запнулся: на полвздоха, на волосок, никто не услышал бы, кроме меня. Он тут же улыбнулся шире прежнего и сказал, что устами невесты говорит сама межа, и что правда в юрте — начало правды у камня. Красиво сказал. Но полвздоха я уже забрала себе и спрятала к остальному.

Юрта одобрительно загудела: разумное условие, честное, без обид. Гуль за стенкой, я знала, сейчас умирает от жалости ко мне. А я сидела и думала: какой странный лад у этой

сухости. Так сухо говорят не те, кому всё равно, а те, кто вперёд отсекает себе руку, чтобы потом не было больно. Дом ветра уже отдавал один раз своё сердце камню — и камень назвал его дом лжецом.

— Дозволено ли невесте своё условие? — спросила я.

Спрашивать положено, и отказывать не положено, но по юрте всё равно прошёл шумок: ханская невеста из певиц — и со своим условием. Тумар повела бровью: говори.

— Пятнадцатая лента, — сказала я писцу. — Пиши: в юрте мужа и жены — только правда. Лгать друг другу нельзя ни в большом, ни в малом. Молчать — можно.

Писец обмакнул кисть и замер, ожидая, не рассмеются ли. Не рассмеялись. Лорд Тарлан Аргун повернул голову и посмотрел на меня во второй раз — и в этот раз по-настоящему: внимательно, тяжело, как смотрят на замок, к которому вдруг нашёлся ключ, только неизвестно ещё, от той ли двери.

— Странное условие для дома, который вся степь зовёт лживым, — сказал он. В голосе не было издёвки. В нём был вопрос.

— В степи говорят: хочешь узнать, кривой ли колодец, — не спрашивай соседей, спусти ведро, — ответила я. — Я буду жить в вашем колодце, лорд. Соседей я уже наслушалась.

Что-то дрогнуло у него в лице — ещё не улыбка, тень её тени, — и пропало.

— Пиши, — сказал он писцу. — Пятнадцатую. И привяжи выше седьмой.

Кайсар поднялся со своего места, когда все ленты были оглашены, — благословлять ряд. Так тоже положено: Голос Ветра держит руку над лентами и поёт короткое слово камня, чтобы договор был угоден меже. Он пел красиво, тепло, и юрта слушала, прикрыв глаза, а я смотрела на его руку. Перстень с прорезью висел над лентами, и Кайсар — этого не видел никто, потому что никто не смотрит на руки святого человека, — тихонько, большим пальцем, тронул прорезь, и перстень отозвался.

Тонкий звук, короче комариного, на самой кромке слуха. И у меня внутри всё стало холодным и очень ясным, потому что этот тонкий звук — этот строй — я слышала вчера. У судных прорезей. В песне камня, изломавшей правду Бекаса. Перстень Голоса пел не тем ладом, каким пел старый камень моего детства. Перстень пел ладом фальши — чисто, привычно, по-хозяйски, как поют ключом, проверяя, подходит ли он к замку.

Я ещё не понимала, что это значит. Я только спрятала это в себя, глубоко, туда же, где жила колыбельная, и досидела благословение с лицом каменной бабы, которых ставят на курганах.

Свадьбу малым чином сыграли на закате.

Малый чин — это без камня, без большого пира, без сорока обрядов: очаг ханши, огонь, соль, одна пиала кумыса на двоих и лента, которой вяжут руки. Большую свадьбу — у камня, с парной клятвой — по уговору отложили до Ночи

Большого Ветра, и я была этому рада так, как радуются отсрочке приговора. Нас поставили перед очагом, соединили руки — его левую, без перчатки, с моей правой — и обвязали белой лентой, и рука у него оказалась тёплой и жёсткой, в старых мозолях от повода и меча, и я услышала, как он дышит: ровно-ровно. Слишком ровно. Так дышат через боль.

— Пей, — сказала ханша, подавая пиалу.

Мы выпили из одной пиалы — он держал её мне, потом я ему, как велит обычай, и кумыс был горький от полыни, и глаза у него вблизи оказались не серыми, а серо-зелёными, цвета степи перед грозой, и смотрел он на меня один короткий миг так, будто хотел что-то сказать, — и не сказал. Юрта прокричала славу. Бубны ударили. Гуль ревела в голос где-то сзади, счастливая и несчастная разом.

Вот так я вышла замуж — за один день, за чужого человека, за врага степи, в уплату мира, с седьмой лентой «никаких чувств» и пятнадцатой «только правда» на одном шесте. Между этими двумя лентами, как я потом поняла, уместилась вся моя жизнь.

Перед сном в мою девичью юрту — последнюю мою девичью ночь — пришла Гуль. Принесла узел с приданым, которое собирала сама, потому что у певицы приданого — бубен да песни: две смены одежды, гребень, зимний платок, напёрсток из стеклянного литья («на счастье, он мне счастье принёс, а тебе нужнее»). И на самом дне узла, завёрнутая в старый платок, лежала домбра.

Материнская. Тёмная, лёгкая, с потёртым грифом и странной насечкой вдоль него — мелкие зарубки без видимого порядка, которые мать иногда трогала пальцем, как трогают чётки, и которые я в детстве считала украшением. Я не играла на ней двенадцать лет. Я возила её за собой из юрты в юрту, как возят горсть земли с могилы.

— Ты же не оставишь, — сказала Гуль, шмыгая носом. — Нельзя её тут. Тут её выбросят.

— Не оставлю, — сказала я и положила домбру поверх узла.

Наутро был отъезд. Ханша вышла проводить — великая честь, — и я в последний раз поцеловала её сухую руку, и она удержала мою ладонь на один лишний вздох, и сказала тихо, мне одной: «Слушай, дитя. И живи. Второе — важнее». А лорд Тарлан, уже верхом, повернулся к ней и сказал при всей ставке, ровно и громко, как читают межевой знак:

— Я взял жену и дал слово, великая ханша. Моё слово прямое, и я привезу его к камню в Ночь Большого Ветра. Но запомни и ты моё второе слово: если ваш камень снова солжёт — я разорву договор сам, при всей степи, и пусть тогда ветер судит нас без толмачей.

Он не смотрел при этом на Кайсара. Он смотрел только на ханшу. Но перстень с прорезью, я видела, повернулся на пальце Голоса Ветра, как поворачивается ключ.

Мы выехали на полдень, к рубежу, и судная долина ушла за холмы, и я не оглядывалась, потому что оглядываться —

дурная примета, а мне нужны были все приметы мира, добрые и злые.

Свиту вёл сотник по имени Жарык — немолодой, кривоногий, с лицом, выдубленным всеми ветрами рубежа, и с голосом честным и ворчливым, как старое седло. Он назвал меня «госпожой» без насмешки, подтянул мне стремя, проверил подпругу и всю дорогу держался на полкорпуса сзади — не как страж при пленнице, а как человек, которому велели беречь. Из этого я тоже сделала заметку: как велели, таким голосом и берегут. Остальные шестеро молчали, но молчали по-разному: двое — с любопытством, трое — с недоверием, один — со злостью, глухой и старой, как долг. Я запоминала их молчания, как запоминают лица.

Степь к полудню сменила цвет: жёлтое стало серым, ковыль — низким и редким, и по левую руку потянулись пастбища, на которых не было стад. Жарык, перехватив мой взгляд, сказал, ни к кому не обращаясь: тут в прошлые годы стояло три рода, ушли за большую воду, суды разорили. И больше ничего не сказал, но я услышала в его ворчании то, чего он не говорил: наши суды. Наш камень. И наша, стало быть, вина — так думает степь про дом ветра, и так дом ветра, выходит, думает про себя сам.

Я ехала и думала о том, какая из меня вышла странная невеста: ханша послала меня слушать дом Аргун, дом Аргун будет ждать, что я подслушиваю для ханши, и оба будут правы, и оба ошибутся. Уши мои с этого дня служили не степи и

не рубежу. Они служили строю — тому, старому, из детства, который пел камень, пока его не переучили. Если он ещё жив где-то под фальшью — я его найду. А кто им потом будет владеть, степь или ветер, — пусть решают те, у кого копыя.

Вечером, на первом ночлеге, когда свита ставила походные юрты и мой новый муж думал, что его никто не видит, он снял с правой руки перчатку — осторожно, как снимают повязку с раны.

Я видела это через щель полога, и лучше бы не видела.

Кисть у него была серая. Сухая, серая, в мелких трещинах, как такыр в засуху, как старый песчаник, как рука его брата в яме, — только у Санжара корка доходила до локтя, а здесь она уже выбиралась из-под рукава выше, к предплечью, и когда он согнул пальцы, с них осыпалась тонкая, блестящая в свете костра пыль.

Дракон, оставшийся без пары, выветривается. Об этом тоже поют у костров — я всегда думала, что это просто красивая страшная песня.

Мой муж умирал. Молча, ровно, никому не сказав, с седьмой лентой «никаких чувств» на свадебном шесте.

А клятву нашего мира через двадцать три дня будет петь камень, настроенный на чужой голос.

Глава 3. Ставка ветров

Три дня пути до Ветровой ставки мой муж разговаривал со мной в общей сложности столько, сколько иной пастух разговаривает с сусликом.

Утром он спрашивал: «В седле удержишься?» — и, получив «да», кивал. В полдень присылал с Жарыком бурдюк и лепёшку. Вечером, у костра, говорил: «Спи. Завтра рано». Всё. Седьмая лента на свадебном шесте, свёрнутом и увязанном на выючной лошади, могла быть спокойна: чувств не наблюдалось никаких, в строгом соответствии с договором.

Зато я наслушалась на три года вперёд.

Голоса каравана раскрываются в дороге, как кумысный бурдюк на жаре: рано или поздно каждый забродит. Двое любопытных из свиты к вечеру первого дня спорили, приживётся ли степная госпожа на рубеже, и в их споре не было зла — было живое, тёплое любопытство людей, которым надоело бояться будущего. Трое недоверчивых молчали и дальше, но по-разному: у одного недоверие к ночи истончилось до простой усталости, у второго — нет, а третий, тот, со старой злостью, к ночи второго дня наконец заговорил, вполголо-са, у дальнего костра, думая, что ветер относит слова. Ветер и относил — прямо мне в уши. Он говорил: видали мы таких ханских птичек, сестру его жены такая же птичка выпе-

ла из дому, донесла суду, что та хвалила запретную настройщицкую старину, род ободрали вирой до костей. Он говорил: пусть госпожа поёт, а я послушаю, кому она поёт. И я лежала под чужим небом, слушала и думала: вот и первый мой суд в доме ветра, и судья у меня — человек, которому уже сломали жизнь моей степью. Такого не переспоришь. Такого можно только не обмануть.

На второй день я начала петь.

Не для них — для себя: в степи, когда страшно и пусто, поют, чтобы дорога не съела. Я пела вполголоса дорожные, простые, про колесо и ковыль, про воду за холмом, — и заметила, как Жарык подтянул коня ближе, а за ним, по одному, вся свита перестроилась так, что я оказалась не в хвосте, а в середине. Люди тянутся к песне, как к костру, даже когда не доверяют рукам, которые его развели. К вечеру второго дня двое любопытных уже заказывали мне песни, как в юрте ханши, а один из недоверчивых — тот, чьё недоверие истончилось, — попросил «про дом», и я спела ему про дым над зимовьем, и у него сделалось такое лицо, что я отвернулась, чтобы его не смущать.

Мой муж ехал впереди и ни разу не обернулся.

Но на третье утро, когда я села в седло, он вдруг сказал, глядя куда-то мимо:

— Ночью будет дождь. Первый за год. Если хочешь, чтобы твои песни слушали здесь, — он повёл подбородком на серую от засухи равнину, — спой сегодня вечером про дождь.

Людям надо приготовитьсѧ радоваться. Они разучились.

— А дождь точно будет? — спросила я. — Или мне спеть так, чтобы был?

Он посмотрел на меня с седла сверху вниз, и в глазах у него, серо-зелѣных, что-то шевельнулось — как рыба под льдом.

— Первая лента ряда, — сказал он. — Дожди со дня свадьбы. Свадьба была три дня назад. Мой дом собирал этот дождь три дня. Он будет.

И дождь был.

Он пришѣл ночью, с полуночной стороны, ровный, широкий, тёплый, и стоял над степью до рассвета, и я вышла из походной юрты и стояла под ним вместе со всей свитой, и суровые люди рубежа подставляли дождю ладони, лица, седые головы, и никто не прятался, и Жарык плакал — не стыдясь, как плачут старики, у которых дождя не было год. Я спела им про дождь — как обещала, вечером, заранее, — и теперь песня сбылась, и они смотрели на меня так, будто это я его напела. А я смотрела сквозь дождь на своего мужа. Он стоял один, поодаль, с непокрытой головой, подставив дождю лицо, и правая его рука в перчатке висела вдоль тела, как чужая, и я думала: вот человек, которого моя степь три года зовѣт лжецом. Он обещал дождь — и вот дождь. Он обещал мир — и едет за миром к камню, который его изломает. Кто из нас двоих шпион, муж мой? Я хотя бы знаю, на кого работают мои уши.

Ветровая ставка открылась к полудню четвёртого дня — и я поняла, почему Гуль называла её крепостью на колёсах.

Она стояла на возвышении, у сухого русла, тремя кольцами: внешнее — повозки и щиты, среднее — юрты воинов и мастерских, внутреннее — большие юрты дома, и над внутренним кольцом на высоких древках шли по ветру длинные вымпелы, серые с серебром, и гудели. Гудели они не просто так: в каждый вымпел вшиты голосники, полые кости, и по их гулу ставка слышит, какой идёт ветер — свой или чужой, ровный или рваный. Город, который слушает небо, — так бы я спела про неё, если бы мне тогда пелось.

Встречали нас всем средним кольцом. И встречали — молча.

Не так, как молчат перед ханшей, — благоговейно. И не так, как молчат перед врагом, — ненавистно. Так молчат перед бедой, которую ждали давно и которая наконец приехала и слезает с коня посреди двора: устало, привычно, засучив рукава. Степная. Ханская. Подслушка, купленная за мир. Я шла через это молчание, как через брод по грудь, и держала подбородок так, как учила мать: не выше правды, не ниже гордости.

— Стало быть, вот она, — сказала мне навстречу старуха, широкая, как дверь, с руками табунщицы и глазами цвета сыворотки. — Ханская невеста. Тоща. В доме ветра тощих ветром уносит, у нас это быстро.

— Значит, буду держаться за что потяжелее, — сказала я.

— За тебя можно?

Двор не засмеялся — двор ещё не решил, можно ли при мне смеяться, — но воздух стал на волосок теплее. Старуху звали Каракыз, она тридцать лет ходила за табунами дома Аргун, а теперь ходила за самим домом: ключи, кладовые, счёт войлокам и людям. Она смерила меня ещё раз, хмыкнула и сказала, что юрта для госпожи стоит с утра, войлок новый, очаг сложен, и чтоб я не вздумала благодарить, потому что делалось не для меня, а для порядка.

Так я вошла в дом ветра: через молчание, за которое не держатся, и через старуху, за которую можно.

За спинами взрослых, как всегда и везде, устроились дети. Их в ставке оказалось неожиданно много — ветер ветром, а жизнь жизнью, — и они-то единственные разглядывали меня без вражды и без жалости, честно, как разглядывают невиданного зверя: степная жена, из самой ханской юрты, с бубном у седла. Один, лет девяти, чумазый, с домброй за спиной — не по росту большой, старой, перевязанной сырыматным ремешком, — просочился под локтями до первого ряда и устоялся так, что я ему подмигнула. Он не смутился. Он деловито кивнул, как кивают друг другу мастера, и его тут же утащила за ухо чья-то бабка. Я ещё не знала, как его зовут. Я только услышала, как коротко тренькнула за его спиной старая домбра, задетая бабкиным локтем, — и как мальчишка на ходу, не глядя, погасил струну ладонью: привычно, нежно, как затыкают рот младшему брату, чтобы не

влетело обоим.

Ставку я в первый же час выучила ушами, как выучивают песню: где кузня — там звон и злой весёлый голос мастера; где мастерская вымпелов — там свист костяных голосников, которые старик-вымпельщик пробует на язык, дуя в каждый, как в манок; где загоны — там смех мальчишек-табунщиков; где юрта совета — там тишина особого сорта, плотная, как войлок в шесть слоёв. Город, который слушает небо, и в котором теперь предстояло жить мне — женщине, которая слушает всё остальное.

Юрту мне поставили во внутреннем кольце, но с краю — тонкость, которую я оценила: жена, но гостья; своя, но не наша. Внутри было чисто, тепло и пусто, как в новом бурдюке. Ерке явилась через час после моего приезда — молоденькая, круглолицая, с поклоном до земли и голосом сладким, как перестоявший мёд: госпоже с дороги умыться, госпоже расчесать косы, госпожа только скажет — Ерке всё сделает, Ерке приставлена самой... тут она запнулась на полвздоха и сказала: самым домом.

Уши мои сделали заметку и на полвздохе, и на мёде. Мёд в голосе — как мёд в бурдюке: если его слишком много, значит, вода была дурная. Услужливость Ерке пела фальшиво от первого до последнего слова — не зло, нет, а старательно, как поют выученное. Кто-то её выучил. Кто — я пока не слышала: в ставке было слишком много новых голосов сразу, они гудели во мне, как ярмарка, и мне нужно было время

разобрать их по одному.

К вечеру Ерке успела спросить меня — между гребнем и косами, сладко, невзначай, — скучает ли госпожа по ханской ставке, и будет ли писать великой ханше, и с кем госпожа думает передавать письма, если будет, и правда ли, что господин лорд подписал с ханшей тайные ленты, о которых двору не сказали. Четыре вопроса за один вечер, и все четыре — не её. Свои вопросы у Ерке были другие, я их слышала под мёдом: боится ли она сама, и заплатят ли ей, и что будет, если не заплатят. Я ответила на все четыре чужих вопроса чистой правдой: скучаю; писать пока не о чем; передавать не с кем; про тайные ленты не знаю. Правда — лучшая монета для доносчицы: пусть несёт хозяину полную горсть, а хозяин пусть ломает голову, отчего монета звенит, а купить на неё нечего.

Вечером Каракыз повела меня — «пока муж при деле, чтоб не заблудилась» — показать внутреннее кольцо: где колодец, где кладовые, где большая юрта совета, куда мне без зова нельзя, где кузня. А за кузней, с подветренной стороны, открылась длинная тихая аллея, и я остановилась сама, без её слова, потому что таких мест не проходят болтая.

Шесты. Ряд высоких шестов, вкопанных в два порядка, и на каждом — ленты: серые, белые, серебряные, старые, истлевшие до нитей, и новые, яркие. Ветер шёл сквозь аллею ровно, как дыхание, и ленты не бились — текли.

— Памятные, — сказала Каракыз, понизив голос до простого. — У вас в степи мёртвых кладут в землю и ставят ка-

мень. У нас в землю класть нечего. Кто уходит в ветер — от того остаётся лента. Вот и всё имущество.

— Уходит в ветер, — повторила я. — Выветривается?

Она глянула на меня остро, как шилом кольнула.

— Быстро выучила слово. Ну да. Дракон без пары сохнет, как русло без воды. Сперва рука, потом плечо, потом весь. В конце — пыль, и ту уносит. Мы не хороним, девочка. Мы отвязываем.

Она прошла вдоль ряда и остановилась у шеста, где среди старых лент висели две почти новые: одна серая с серебряной нитью, другая — простая белая.

— Старый лорд, — сказала Каракыз. — Отец наших. Госпожа умерла родами младшего, зимой. Лорд Ерсан держался восемнадцать лет — на детях держался, на рубеже, на упрямстве. А как старший встал на ноги и принял ставку — отпустил себя. За два года выветрился весь. Вот его лента, а белая — госпожи, они рядом. Тарлан сам отвязывал отца. Сам и привязывал сюда. Ему было двадцать два.

Я стояла и слушала, как течёт ветер сквозь ленты, и считала то, чего Каракыз не говорила. Восемнадцать лет на упрямстве. Значит, можно держаться. Два года — когда отпустил. Значит, отпускают быстро. У Санжара серое до локтя — год ямы. У моего мужа — выше локтя, я видела. И он не отпустил себя, нет: он держится, на брате держится, на рубеже, на ставке, как отец, — но корка не спрашивает, за что ты держишься.

— Зачем ты мне это показала? — спросила я.

— Затем, что ты жена, — сказала Каракыз, и сыворотка её глаз стала на миг тёмной, как обрат. — Какая ни есть. По какому ни есть ряду. В этом доме от жён давно ничего не ждут, кроме беды, — так хоть знай, где у нас что лежит. Беда — там, — она кивнула на рубеж. — Память — тут. Разбирайся.

Перед сном в мою юрту пришёл муж.

Пришёл как приходят к вдове судиться о меже: встал у порога, не садясь, спросил, тепло ли, сыта ли, не обидел ли кто. Я сказала: тепло, сыта, не обидел. Он кивнул и уже повернулся уходить, и тут я — сама не зная, какая из моих двух хозяек меня дёрнула за язык, степь или правда, — сказала ему в спину:

— Лорд. Пятнадцатая лента.

Он остановился.

— Я хочу знать, как мне здесь жить, — сказала я. — Только правду. Мне будут верить в этом доме?

— Нет, — сказал он, не оборачиваясь. Ровно, без жестокости, как называют цену на торге. — Не будут. Ты приехала из ставки, чей камень зовёт нас лжецами, и половина двора считает тебя ушами ханши. Веры тебе не будет ни через месяц, ни через год. Будет вежливость. Этого достаточно, чтобы жить.

— А ты? — спросила я. — Ты мне веришь?

Он обернулся. Свет очага лёг ему на лицо снизу, и я уви-

дела, что он устал так, как не устают за четыре дня дороги, — так устают за три года.

— Я слышал, как ты сказала про моего брата «я ему верю», — сказал он. — В твоём голосе тогда что-то было. Я не певец, я не знаю слова. У ветра это называется — ровно. Говори со мной ровно, жена, и я буду отвечать тем же. Это больше, чем вера. Вера слепа, а ровный ветер видно.

— Тогда ровно: что у тебя с правой рукой?

Он посмотрел на меня долго — и я услышала, как в его молчании один за другим запираются засовы.

— Пятнадцатая лента позволяет молчать, — сказал он и вышел.

И это тоже был ответ, и мы оба это знали.

Ночью я не спала.

Лежала в новой юрте, в новой жизни, слушала, как гудят на ветру голосники вымпелов — ровно, значит, ветер свой, — и как ходит по внутреннему кольцу стража, и как где-то далеко, в стороне большой юрты, до полуночи говорили мужские голоса: муж мой держал совет, и совет, судя по гулу, был тяжёлый. Потом всё стихло. Остались ветер, ленты да я.

И тогда я достала домбру.

Двенадцать лет я её не расчехляла — а тут вдруг руки сами. Может, из-за аллеи с шестами: у меня ведь тоже всё имущество от матери — лента, только звучащая. Я села у остывающего очага, положила её на колени, тронула струну — она отозвалась глухо, спросонья, — и стала подтягивать

колки, на слух, как учила мать: не до чистоты, а до правды, говорила она, чистых ладов много, правдивый один. Пальцы вспомнили сами. Я подтянула, тронула лады — и остановилась, потому что пальцы легли на насечки грифа, на те мелкие зарубки без порядка, и я вдруг услышала под ними порядок.

Это не украшение. Это метки ладов. Не тех ладов, по которым играет вся степь, — других: чуть уже здесь, чуть шире там, лесенка со ступенями не по ноге, и если поставить пальцы по зарубкам и вести — выходит тот самый строй. Глубокий, странный, ни на что не похожий. Строй колыбельной. Мать не украшала гриф — мать записала на нём песню, зарубка за зарубкой, как записывают то, что нельзя доверить бумаге и можно доверить только дереву и дочери.

Я сидела, не дыша, с пальцами на зарубках, и тут снаружи переменился ветер.

Голосники вымпелов сменили гул — с ровного на протяжный: ветер пошёл с полуночи, с межи, издалека, через всю степь. Такой ветер приходит высоким и несёт всё, что подобрал по дороге: запах полыни, сухую пыль, обрывки собачьего лая с дальних кочевий. И на самом его дне, на кромке слуха, тоньше комариного крыла, он нёс звук, который я не спутаю ни с чем, потому что выросла при нём.

Камень. Поющие скалы, за три дня пути, пели под ночным ветром — пустым, будничным пением, при закрытых заслонах оно тише шёпота, его и у самых скал-то слышат не все.

Но ветер был драконий, ровный, и уши были мои.

Камень пел фальшиво. Как все пятнадцать лет.

А под фальшью — глубоко, на самом дне, там, куда никто не заглядывает, потому что все затыкают уши раньше, — держалась нижняя нота. Одна. Ровная, тёмная, живая, как вода подо льдом, как жила под коркой. Она не сдавалась фальши. Она ждала.

Я знала эту ноту. Я спала в ней шесть первых лет своей жизни.

Это была первая ступень материнской колыбельной — и первая зарубка на грифе домбры, которую я держала в руках.

Старый строй не умер. Его закрыли сверху чужим, как закрывают колодец щитом, но вода стояла внизу живая. И если жива нижняя нота — значит, жилы можно вернуть. Значит, есть что возвращать.

Под утро, когда небо в дымнике посерело, я уложила домбру обратно в платок и стала складывать то, что насобирали мои уши за эти дни, как складывают приданое: по одному, углами внутрь.

Камень перестроили — не сломали: нижняя нота жива. Перстень Голоса поёт ладом фальши — ключ, которым проверяют замок. Мой муж говорит правду и умирает молча. Его брат говорит правду и сидит в яме. Моя мать записала на грифе домбры строй, который совпадает с живой нотой камня, и её изгнали с межи за фальшь, которой не было. Всё это были ещё не ответы — так, зарубки без порядка. Но я

уже знала по домбре: у зарубок без порядка бывает свой лад, надо только поставить пальцы и вести.

Для этого мне нужно было одно: попасть к скалам. Не в Ночь Большого Ветра, при всей степи, а раньше — тихо, ушами. Услышать жилы вблизи, счесть, сколько их перетянуто и как. Жена лорда, готовящаяся к парной клятве, имеет право поклониться меже — так я скажу мужу. И это даже не будет ложью: поклониться я и правда собиралась. В ноги. Той самой нижней ноте.

Я сидела до рассвета, держала домбру, как держат спящего ребёнка, и боялась пошевелиться — чтобы не расплескать.

Глава 4. Поющие скалы

Утром я попросила мужа о поклоне меже — и не солгала при этом ни в одном слове, чем немного гордилась.

— По обычаю юрты ханши невеста, которой стоять под камнем, кланяется меже загодя, — сказала я, глядя не в глаза ему, а чуть ниже, туда, где под воротом ходит голос. — Я хочу поклониться Поющим скалам до Ночи. Услышать, перед чем мне клясться.

Голос мой лёг чисто, потому что всё это было правдой. Я собиралась кланяться. Я собиралась слушать. Про то, что кланяться я буду не камню, а нижней ноте под ним, обычай уточнений не требовал.

Тарлан Аргун посмотрел на меня долгим взглядом человека, который привык мерить ветер, а тут ему принесли что-то без веса и без стороны света. Штиль у него на лице стоял старательный, выглаженный, и я уже знала цену этому штилю: у ветряного дракона безветрие — работа, а не отдых.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.